

Ольга  
Славникова  
Бессмертный

*Роман  
Рассказы*

Лауреат премий  
КНИГА ГОДА,  
РУССКИЙ  
БУКЕР



Новая русская классика

Ольга Славникова

**Бессмертный**

«Издательство АСТ»

2001

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Славникова О. А.**

Бессмертный / О. А. Славникова — «Издательство АСТ»,  
2001 — (Новая русская классика)

ISBN 978-5-17-173161-8

Ольга Славникова – известный прозаик, эссеист, культуртрегер, автор романов «Прыжок в длину» (премия «Книга года»), «2017» (премия «Русский Букер»), «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки», «Легкая голова», сборника рассказов «Любовь в седьмом вагоне». Как известно, хорошо там, где нас нет. Для героев книги Ольги Славниковой – хорошо там, где они были. В их прошлом. Но мир меняется, и действительность нагрянула, не предупредив. И каждый приспосабливается по-своему. Алексею Афанасьевичу, главному герою романа «Бессмертный», в этом помогают близкие. Прошедший Великую Отечественную кавалер восьми боевых орденов уже много лет прикован к постели и не знает, что за последние пятнадцать лет в стране произошли грандиозные перемены. Ему заботливо показывают новости, где еще жив Брежнев и продолжается строительство коммунизма, зачитывают отредактированные статьи из современной «Правды»... Однако бывший разведчик начинает догадываться, что что-то здесь не так... Также в книгу вошли рассказы «Конец Монплезира» и «Мышь».

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-173161-8

© Славникова О. А., 2001

© Издательство АСТ, 2001

# Содержание

Бессмертный	7
Конец ознакомительного фрагмента.	16

# **Ольга Александровна Славникова**

## **Бессмертный**

© Славникова О.А.

© ООО «Издательство АСТ»

## Бессмертный

В самом дальнем и, стало быть, самом жилом и ук-ромном углу обычной типовой двух-комнатной квартиры ветеран Великой Отечественной войны Алексей Афанасьевич Харитонов лежал, глухо замураванный в своем расслабленном обабившемся теле, вот уже четырнадцать лет. «Очень хорошее, крепкое сердце», – бормотала себе под нос участковый врач, старенькая, похожая на мудрую крысу Евгения Марковна, каждый месяц добиравшаяся на тонких, широко расставляемых ножках до этой квартиры и до этого угла, где парализованный простирался на свежей, косо натянутой под ним простыне, наряженный под одеялом в новые, с резинкой как пулеметная лента, кое-как надетые трусы. «Сердце просто как у молодого», – продолжала бормотать ученая старуха, размачивая под краном растресканную щепку дешевого мыла, в то время как жена ветерана, молодая пенсионерка Нина Александровна, держала наготове ключковатое от стирок махровое полотенце. Обе женщины молчаливо понимали, что про сердце – это не объяснение.

Было что-то странное и даже зловещее в ненормальном долголетию Алексея Афанасьевича. В отличие от большинства ветеранов той уже баснословной войны, ежегодно, хоть и неравномерно уменьшавшихся в числе, Алексей Афанасьевич пошел воевать не мальчишкой, а взрослым мужиком, уже окончившим училище и поработавшим в школе. И если эти, молодые по сравнению с ним старики, то и дело собиравшиеся под новыми, несколько бумажными на просвет красными знаменами, казались потомками тех, кто когда-то юным уходил на фронт, – совсем другими людьми, рожденными из долгого жизненного сна, в котором умерли, не выдержав непосильной длительности, истинные обладатели памяти о войне, – то Алексей Афанасьевич, напротив, поражал своей *доподлинностью*, пронесенной сквозь смутные и ярко освещенные годы: одним своим наличием он настолько полно удостоверял самого себя, что за все время его беспартийной жизни мало кому из облеченных властью людей приходило в голову спросить у него документы.

Каждое состояние и действие этого человека длилось ровно столько, чтобы и он, и окружающие вполне осознали и запомнили совершенное; должно быть, полтора десятка человек, некогда убитых им, армейским разведчиком, беззвучно и без применения оружия, были из тех немногих, кто еще живьем приблизился к разгадке, что же такое смерть. Алексей Афанасьевич подарил им это знание, которого они сподобились, выплясывая ногами, сумасшедше косясь куда-то за собственный висок, роняя на землю автоматы, миски с супом, порнографические открытки; самая удачливая снасть Алексея Афанасьевича – петля из крепкой шелковой веревки, имевшая преимущество перед ножом, который даже самой темной ночью ловил на лезвие неизвестно откуда брошенный свет, – ни разу не дала промашки, и сам разведчик, зажимая горстью теплое, как каша, мычание фашиста, явственно чувствовал момент, когда из тела с мягким толчком, точно спрыгивает кошка, выходит душа. В перерывах между опасной работой, чтобы не потерять инструмент, Алексей Афанасьевич носил петлю на собственной шее, как иные несознательные носили на войне нательные кресты; иногда заношенный шнурок и правда принимали за крест. То ли из мужской нелюбви к сопливым постирушкам, то ли из опасения смыть с залоснившегося шелка гладкость и удачу Алексей Афанасьевич никогда не полоскал веревку ни в одной из прелых банек, где выпадало отпаривать фронтовую соленую грязь, – и веревка, пропитываясь телом, все больше становилась частью его самого. Сзади, на шее, где грязная петля натирала худой, как велосипедная цепь, скользкий от пота позвоночник, у разведчика краснела и мокла воспаленная полоса – от нее у Алексея Афанасьевича навсегда осталась сильно чесавшаяся при сырой погоде грубая отметина.

После демобилизации Алексей Афанасьевич, имевший восемь орденов и бесчисленно наград помельче, не полез ни в какие начальники, посвятив всего себя (как писала заводская

многотиражка) мирной работе в техническом архиве; однако взгляд его холодных, с каменной прозеленью, глаз содержал предупреждение, и движения его были таковы, что наблюдателю невольно думалось, сколько же *весьтпо отдельности* его обваренная загаром ручища, его хромяя и его здоровая нога. Из-за фронтальной хромоты Алексей Афанасьевич шагал, будто левая половина тела содержала дополнительный, навсегда навьюченный груз, который следовало, вскидываясь и устраивая поудобнее невидимые лямки, непременно доставить с места на место: каждый следующий шаг с опорой на крепкую, широко забирающую трость зависел не от рельефа местности, но исключительно от навыка неспешной перекошенной ходьбы с грузом самого себя (с грузом сердца, неустанно бухавшего слева под рубахой). Алексей Афанасьевич жил, никогда и ничего себе не объясняя, но как бы запоминая себя по частям, – оттого все прожитое всегда находилось при нем, и казалось, что существование ветерана просто не может прерваться, потому что какая-то часть его сознания никогда не дремлет и надежно присоединяет настоящее к прошлому, где он всегда и навечно живой. *Доподлинность* его, казалось, гарантировала бессмертие, при мысли о котором у Нины Александровны, бывшей моложе мужа ровно на четверть века, в душе поднимался немой суеверный вопрос и как-то ясно возникало представление о собственных похоронах, точно это случится уже послезавтра, – и как это будет странно для нее, спящей на раскладушке рядом с высокой мужниной кроватью, вдруг улечься выше Алексея Афанасьевича, на обеденном столе, прямо в платье и туфлях под гробовой простыней.

Четырнадцать лет назад шествие Алексея Афанасьевича по земле неотвратимо прервалось. Когда он после ужина курил на тесном, курчаво цветущем балкончике, под его немалой тяжестью сперва зашаталась, заходила ходуном всегда бестрепетная трость, а сам он некоторое время еще стоял как бы в невесомости, прежде чем рухнул на пустые банки и тазы, заняв собою весь разгромленный балконный пятачок. Нина Александровна, прибежавшая из кухни на страшный стеклянный набат, не смогла попасть на балкон – там было некуда поставить ногу, чтобы не наступить на Алексея Афанасьевича, резко белевшего словно полувываленным из тела животом, – не смогла увидеть его лица, только остекленелую в воздухе прядь седины, которая встала дыбом, когда Алексей Афанасьевич бесчувственно съезжал затылком по балконному косяку. Пока приехала бригада реанимации, пока прибежали от друзей дочка Нины Александровны Марина и зять, тогда еще просто ночующий жених Сережа Климов, пока удалось с помощью связанных полотенец вытащить с балкона застрявшее тело, словно норовившее обнять себя перекидывающимися длинными руками, – прошло не меньше полутора часов. Половина лица Алексея Афанасьевича была оттянута книзу и странно размазана, точно кто-то пытался грубо стереть его простые солдатские черты; встопорщенные брови, всегда похожие на двух петухов, теперь разъехались в разные стороны, и левый глаз, полуприкрытый расслабленным веком, жутковато посверкивал полоской закровеневшего белка.

Таким оно, в общем, и осталось, это *половинное* лицо, бывшее в любом развороте всего лишь профилем чего-то человеческого. В периоды непонятных улучшений, приходивших вдруг ни с того ни с сего, Алексей Афанасьевич, криво щерясь и словно пытаясь зажевать зубами измятую щеку, иногда выдавливал какие-то дурные, протяжные, вязкие звуки, напоминающие выкрики пьяного, охваченного негодованием или жалостной песней. Иногда у него начинала двигаться левая рука: ею он возил туда-сюда по одеялу и даже удерживал, беря с осторожным, медленным подкрадыванием, странно повернутые или вовсе перевернутые предметы, неспособные, однако, заполнить пустоту его закостеневшей пятерни.

*Эта перевернутость* вещей в бесчувственной руке Алексея Афанасьевича выражала отсутствие для него вертикалей и горизонталей нормального пространства. Когда-то Нина Александровна, женщина маленькая и с детской пушистой макушкой, гордилась богатырским ростом мужа в метр девяносто два – но теперь эта цифра, вероятно, не изменившаяся, не имела никакого физического смысла. Не имели значения также размеры одежды (Нина Алек-

сандровна просто покупала на оптовом рынке самое обширное из полоскавшегося на ветру ассортимента). Хромота Алексея Афанасьевича, прежде поднимавшая его еще выше над ровной толпой, теперь исчезла совсем: отсутствие на левой ноге всех пальцев, кроме похожего на древесную почку прижатого мизинца, выглядело как легко восполняемое в уме повреждение статуи.

Выходило, что тело парализованного, по-прежнему достоверное в своем наличии, даже болеющее изредка бытовыми людскими болезнями (простуда, гастрит), вовсе не имеет пространственных размеров, а только вес, под которым *никогда не звенит* старинная, похожая на железную карету трофейная кровать. Вес, это невидимое свойство неподвижных вещей, был теперь для Алексея Афанасьевича, пока его не трогали, всего лишь способом взаимодействия с таким же, как и он, абстрактно-астрономическим центром Земли. Когда же Нина Александровна ворочала его по параличным меркам ухоженное тело, отмеченное старыми шрамами, напоминающими бледные расплюснутые стебли, какие бывают под валунами, – ей казалось, будто она на миллиметр сдвигает с места всю *незримую* земную массу, принимающую ветерана за свою естественную часть.

Этот ежедневный труд давался таким напряжением сил, что порою Нина Александровна долго пересаживала накачанную в голову тугую черноту, дававшую почувствовать, как в действительности непрочно попискивающие за ушами крепления черепа. Однако, очнувшись и обнаружив себя на прежнем месте, она как ни в чем не бывало снова принималась за труды – с тем легкомыслием, что странно сочеталось у нее с немалым возрастом и мелкой сединой, не видной, впрочем, в ее воздушных, очень светлых волосах, только заставлявшей их сильнее блестеть при мягком свете домашнего электричества. Продолжала она ухаживать и за прежней одеждой Ивана Афанасьевича: его коричневые ботинки, на которых застарелый слой обувного крема походил на шоколад, стояли в прихожей рядом с ее пропыленными туфлями, в платяном шкафу висел, имея в каждом кармане средство от моли, пухлый, словно располневший от безделья габардиновый костюм – давно готовый к своей последней похоронной миссии, в которую, однако, не верило и не желало верить ветеранское семейство.

\* \* \*

Дело в том, что неподвижность, навсегда занявшая дальний сумрачный угол квартиры, была на самом деле действеннее и активнее, чем вся другая ходячая и говорящая семейная жизнь. В новом времени, наставшем вдруг, семья Харитоновых, не получившая никаких подарков на детском празднике капитализма, существовала главным образом на ветеранскую пенсию. Беспечная Нина Александровна, всю жизнь просидевшая в тихой проектной конторе у чистенького окошка, всегда украшенного, на манер платка, то морозными узорами, то нарядными ветками кленов, никогда не беспокоилась о будущем, потому что долгие годы каждый новый день ее ничем не отличался от вчерашнего. Любое маленькое счастье, вроде отреза заскоружло покрашенной югославской шерсти или свадьбы сослуживцев – двух немолодых, одинакового роста инженеров, много лет ни перед кем не признававших свои отношения и наконец-то собравшихся в ЗАГС, – совершенно заслоняло от нее туманность перспектив. Потом, когда весь воздух новой жизни сделался таким, каким он бывает в комнате с выбитыми окнами, и все знакомые человеческие лица странно утекли в себя, точно вода в изношенный песок, Нина Александровна вдруг осознала, что теперь нельзя, запрещено и глупо радоваться *чужому*: тогда ее собственные радости вдруг показались ей совершенно ничтожными, словно она держала их в горсти и видела какие-то дешевые блески, цветные тряпочки, покрытые коростами мелкие монетки. Что же касается собственно денег, то обращение с ними требовало теперь особой сноровки: увеличиваясь до невероятных сумм, они одновременно уменьшались и буквально таяли в руках, экономить их было бессмысленно. Нина Алексан-

дровна пыталась при случае делать запасы: однажды она невероятно дешево закупила полную хозяйственную сумку грубых макарон, что деревянно трещали в своих бумажных колчанах и варились по часу, превращая содержимое кастрюли в несъедобный клейстер. Были и другие продуктовые закупки, пересыпанные маком насекомых экскрементов и прослоенные промокшками зеленоватой плесени; когда у Нины Александровны прямо в магазине, в тесноте очередей, якорными цепями уложенных вокруг грохочущих касс, однажды стащили кошелек, она вместо ужаса испытала единственное за последние годы настоящее облегчение.

Очень скоро она и вовсе перестала понимать, что такое теперь зарабатывать деньги. Выйдя на пенсию, она иногда встречала прежних знакомых, которых раньше все считали хваткими, умеющими устроиться в жизни: сейчас это были суетливые мужики в задастных китайских пуховиках и дамы с умоляющими глазами, в полысевшем каракуле и в остатках советских металлоемких украшений, все еще сверкавших грубыми ромбами алых и васильково-синих камней. Если уж эти *деловые* люди не сумели приноровиться к новой товарно-денежной действительности, имевшей обмен веществ будто у землеройки и словно все время поглощавшей что-то больше собственного веса, – то что говорить о Нине Александровне, всегда стеснявшейся понимать, как на самом деле устроена жизнь? В сущности, она могла рассчитывать только на других, взамен соглашаясь делать такую работу, которая изо дня в день остается одинаковой. Задержись она на службе, за которую продолжали цепляться сильно уже пересидевшие пенсионеры, по целым дням крутившие ручки вялотекущих карандашных точилок, – ей бы ни за что не выдержать резкой смены остервенелого начальства, грызни за редкие оплаченные заказы, какой-то тихой картежной интриги с акциями конторы, благодаря которой бывший директор, уволенный за сдачу помещений под склады химикатов, вдруг вернулся владельцем всех шести притихших этажей. Так получилось, что Нина Александровна ушла совершенно вовремя и теперь могла заниматься Алексеем Афанасьевичем, не выпрашивая у начальства двадцатиминутной прибавки к обеденному перерыву; она повторяла себе, что не одинока и что теперь нужнее в семье.

Однако зять Сережа, который должен был, по идее, стать главою и кормильцем скромного семейства, не мог найти применения двум своим незаконченным высшим образованиям и через двое суток на трети сторожил автостоянку, откуда всегда приносил с собою свежий, не сильнее обычного парфюма, запах алкоголя. Этот тридцатитрехлетний, среднего роста, гладко выбритый и уже практически лысый мужчина внешне напоминал какой-то научно-популярный пример человека вообще; на язвительные реплики жены, отпускаемые всякий раз, когда муж неосторожно брался небольшими изящными руками за домашнюю работу, Сережа отвечал безмятежной улыбкой того обезболенного оттенка, какой бывает у манекенщиков анатомических атласов, демонстрирующих на себе багровую, лаокооновыми змеями сплетенную мускулатуру. В свои свободные сутки Сережа предпочитал куда-то тихо исчезать и, бывало, являлся под утро – осторожно ковырял ключами в разболтанных замках, зажигал в прихожей воровской, из-за угла пробивавшийся в комнаты свет, изредка оставлял на подзеркальнике немного денег неизвестного происхождения, которые Марина, перед тем как идти на работу, брезгливо собирала себе в кошелек. Несколько лет назад Сережа пробовал промышлять, нанизывая на кожаные шнурки деревянные «талисманы», напоминавшие червивые грибы, и сбывая их в жидколиственном сквере перед городской картинной галереей, где продавалась масса всякой дребедени – от мясистых пейзажей в полновесных, заслуживающих названия мебели, полированных рамах до проволочных перстеньков со слезливыми камушками, снабженными гороскопом. Марина, поощряя, за неимением лучшего, этот художественный бизнес, даже носила какое-то время подаренное мужем украшение – залитое лаком подобие получеловеческого уха, натершее на белом синтетическом свитере рыжие бородавки.

Однако торговля с обшарпанного этюдника (позаимствованного для службы прилавком и в целях антуража у кого-то из дальних приятелей), разумеется, кончилась ничем. Теперь

остатки товара, завернутые в старую, берестой засохшую газету, валялись под кроватью – и неудавшийся дизайнер не выказывал ни малейшего намерения взяться за что-нибудь еще.

Из всего семейства только Марина не оставляла надежды и усилий пробиться в люди. Нина Александровна не успела оглянуться, как дочь из белокурого упитанного подростка, чье лицо, казалось, было всегда измазано ягодным соком, превратилась в фигуристую женщину, затянутую в черный, дешево лоснящийся синтетикой офисный костюм. И в школе, и в университете, на факультете журналистики, Марина всегда была отличницей – но чего-то существенного не хватало в ее пятерках, в ее пространных репортажах, всегда начинавшихся, как ее учили, с какой-нибудь броской детали, – так неумелый рисовальщик, желая изобразить человека в полный рост, начинает с проработки носа и бровей, а потом получается непохоже и вообще не влезает на лист – но у многих сокурсников Марины, совсем не умеющих расставлять запятые, карьера сложилась не в пример результативней. Те, кто списывал у нее на экзаменах, преданно дыша в плечо, теперь оказались устроены в газетах, щедро опекаемых властями, и даже превратились в щеголеватых маленьких начальников – а Марина, с ее единственным на выпуск красным дипломом, маялась внештатно при отделе новостей третьей степени телестудии, занимавшей помещение обанкротившегося Дома моды, где в кладовке на дощатых нарах все еще прели предназначенные на продажу рулоны бурого драпа и пылился розовый, с грудями как колени, дамский манекен.

Марина проводила на студии полный, как у штатных сотрудников, рабочий день – три-четыре сюжета, монтаж, – но платили ей, однако, только гонорар, что выходило меньше, чем у злобной, с гнилыми глазами уборщицы, вечно ворчавшей, что на пол ей поналожили разных проводов. Марина пыталась делать и авторскую программу: интервьюировать городских и заезжих сумасшедших в условном оранжевом помещении, оставшемся от старой детской передачи и бесхозном по причине радикальной окраски стен, превращавшей молодые лица студийных комментаторов в подобие яичницы. В помещении не было ничего, кроме громадных пластиковых кубиков вперемешку с полуразвалившимися картонными коробками из-под аппаратуры, пол-литровых банок со спекшимися окурками да облезлого кронштейна, где висели, напоминающая подушки с рукавами, квадратные дамские пиджаки. Но Марина придумала, как использовать убогий интерьер: во время передачи и она, и гость то и дело пересаживались с одного кубического метра на другой (Марина, переваливаясь с боку на бок, выпрастывала юбку, что бесстрастно фиксировала камера), а из-за других разноцветных кубиков выскакивали с комментариями выпученные куклы, чьи трикотажные пасти напоминали хватающие воздух рукавицы. Однако оригинальный проект, которым бедная Марина, наконец-то допущенная к *своему эфиру*, гордилась несколько недель, совсем не собрал рекламы, и директор «Студии А», сердитый толстый юноша с бородою как осиный клубок, носивший скромную фамилию Кухарский (дядя его, носивший фамилию Апофеозов, возглавлял не самый слабый городской департамент), собственноручно поставил на Маринином шоу начальственный крест.

В этот вечер на Марину было страшно смотреть – особенно Нине Александровне, давно не смевавшей прикасаться к дочери и не знавшей, каковы теперь на ощупь ее много раз перекрашенные волосы, где от прежнего цыплячьего пуха и пера остались одни желтоватые охвостья. Марина молча сидела за кухонным столом, глаза ее были подернуты такою же мертвенной пленкой, как и стоявшая перед ней тарелка нетронутого супа. Она сидела не шевелясь, но в ней происходили перемены – на минуту Нине Александровне даже показалось, что эта неподвижность дочери того же свойства, исполнена той же замурованной таинственной воли, что и неподвижность Алексея Афанасьевича, лежавшего через три стены, с комом овсянки во рту и с перевернутым пупсом в скрюченной руке. Муж Сережа, тоже, видимо, ощущая что-то подобное, беззвучно вытянулся по частям из-за тесного стола, потом мелькнул в прихожей, набрасывая плащ, словно пытаясь накрыться им с головой, – Марина, чуть повернув большое белое лицо, непонятно посмотрела вслед, а Нина Александровна с внезапной резкостью вспомнила,

как увидела Марину и Сережу торжественной, новенькой, как из магазина, свадебной парой и отчего-то сразу поняла, что у них не будет детей.

С этих самых пор Марина влезла, как она не стеснялась объяснять домашним, в борьбу за место под солнцем, какую должен вести каждый уважающий себя человек. Продолжая каким-то образом удерживаться в «Студии А» (буквально краешком, на одной только цепкости ногтей и шпилек, подбитых железными бляшками), она вербовала сторонников и вела интригу против юноши Кухарского, для устранения которого надо было свалить не больше и не меньше как самого Апофеозова – над которым, с переменой местной погоды, сгущались ватные тучи финансового скандала. Тут был замешан инвестиционный фонд, без остатка впитавший многомиллионный бюджетный кредит, маячили и два других каких-то племянника – смутные фигуры с недоказанным родством, но очень друг на друга похожие, с широкими круглыми мордами, на которых только посередине рисовалось что-то вроде собранных черточек, остальное лежало свободным пространством, – и оба проворовавшиеся. Племянников, именуемых бизнесменами, оппозиционная пресса поодиночке вытаскивала на интервью, но толку было чуть: молодцы, на словах отрицавшие один другого и чуть ли не отказывавшиеся верить в существование друг друга, оказались как две катушки магнитофона, между которыми крутилась пленка, выдававшая в эфир записанный текст. Сам же Апофеозов, мужчина породистой, хотя и несколько собачьей наружности, вдруг, окутавшись грозой, сделался обольстителем и прекрасен: на обширном его, из богатого материала сделанном лице играли, перекладываясь то налево, то направо, витиеватые тени, двубортные костюмы сидели превосходно, янтарные, слегка навывкате глаза смотрели так проникновенно, что телезрители теряли ощущение материальности телевизора, отделявшего их от политика экранного стекла. Давая интервью исключительно своим, Апофеозов так часто возникал в эфире, что буквально насытил собою воздух, сделавшийся при вдыхании странно щекотным и терпким; то и дело незримое присутствие Апофеозова пускало по древесной листве шумную блестящую волну, и даже в безветрие словно некий дух взвивал с асфальта хвостатый прах, торжественно целовал, будто тяжелое бархатное знамя, пыльную поверхность сомлевающего пруда. Дух Апофеозова витал повсюду, точно сам он умер; в почте его, к тайной досаде бессменной, похожей на старого Буратино и совершенно бесполой секретарши, стали все гуще попадаться любовные письма, плохо замаскированные под политические заявления.

Но и на Апофеозова нашелся достойный враг – некто Шишков, политик и доктор наук, длинный и длиннолицый, будто шахматный король, прежде свирепствовавший на экзаменах и гремевший на перестроечных дискуссионных трибунах, ныне владеющий сетью народных пельменных, где и сам демонстративно питался, пятная тонкими, но яркими губами бесчисленное количество бумажек из пластмассовых стаканчиков. Марине-отличнице, несомненно, был духовно близок этот тип коварного и сумасшедшего профессора, ставящего на своем большом желудке бескомпромиссный эксперимент, – не говоря о том, что Шишков определенно обещал своей бывшей студентке в случае победы должность замдиректора «Студии А» с хорошим процентом от рекламы и с окладом в шестьсот условных единиц. Эти обещанные деньги, по самым скромным подсчетам, были больше, чем могли бы принести в семью двадцать парализованных Алексеев Афанасьевичей: Марине (не знавшей, что уже подготовлен в провинции будущий директор студии, свирепый непризнанный поэт, намеренный все переделать по своему усмотрению) было за что бороться. Все средства сделались хороши: на тайных сходках за бурым чаем с трухлявыми сушками вырабатывался из добытого сырья правдоподобный компромат, утверждавший, например, что лично Апофеозов украл через племянников больше семисот тысяч американских долларов (в действительности три миллиона триста, о чем достоверно не знал никто, даже сам Апофеозов, как-то стыдливо не сложивший в уме миллион четыреста, миллион и еще девятьсот). На деньги дружественного банка в центральной прессе помещались аккуратные, в предположительном тоне, статьи, перепечатываемые затем,

со ссылками на авторитетный источник, в местных листках. Дел у Марины стало невпроворот. Теперь она приезжала домой на разных, осторожно пробиравшихся к подъезду автомобилях ближе к двенадцати часам; в усмешке ее появилось что-то поистине змеиное. Мужа, присутствовавшего либо отсутствовавшего, она не замечала вовсе – при том, что стала, как и враг Апофеозов, странно, притягательно хороша. Она и прежде гордилась тем, что костюм ее на два размера меньше, чем тесные джинсовые вещи, что она носила в студенческие годы, – а теперь и вовсе похудела, навесила на талию широкий черный пояс из лаковой клеенки, с пряжкой как дверной замок, почему-то украшенный стразами. Теперь, когда она, часто дыша воспаленным, небрежно намазанным ртом, проходила на поцарапанных шпильках по коридору телестудии, многие мужчины на нее оглядывались – а однажды сам Шишков, сидя через одно пустое место за столом секретных совещаний, церемонно привлек ее за бочок и позволил себе один отдающий пельменем отеческий поцелуй.

Нина Александровна тоже смотрела на Марину новыми глазами: полужнакомая задерганная женщина, с которой стало почти невозможно соприкоснуться физически, стала для нее какой-то видимостью, домашним привидением. Казалось, будто дочь ей показывают по телевизору и все не разрешают свидания, когда можно было бы тихонько поправить ей некрасивый черный воротник, просто погладить по руке, тяжело лежавшей на клеенке, пока не начинал внезапно прыгать полусогнутый средний палец, будто клавиша испорченного механического пианино. Марина сразу сжимала пальцы в кулак и крепко забирала их в другую горсть – но тик перескакивал ей на лицо, где принимались плясать какие-то тонкие болезненные ниточки. «Мама, отвяжись», – цедила она сквозь зубы, хотя Нина Александровна и не говорила ничего, молча обваливала, например, котлеты из дешевого липкого фарша и тут же вспоминала, как десятилетняя Маринка, бывало, прилетала со двора с запутавшимся бантом, с черной разбитой коленкой и с порога кричала: «Мама, отстань!»

Нине Александровне очень не нравились эти нынешние нервы и искусственная, с рыхлыми тенями худоба, она не могла остановить воображения, убедительно развивавшего в дочери целый комплекс затаившихся болезней, – но не смела просить, чтобы Марина потратила время и показала врачам, которых могла воспринимать в разгаре борьбы только как новых врагов. Между тем ее воображаемая желудочная язва сделалась для Нины Александровны такой же реальностью, как и мужнин паралич, с которым приходилось жить. Лежа ночью на перекошенной, пахнущей старым брезентом раскладушке, слушая близко над собой, как тело Алексея Афанасьевича тихо бурлит пузырящимся храпом, Нина Александровна иногда позволяла себе размечтаться, что все еще будет хорошо и у нее родится внук. Но иногда из соседней комнаты до нее доносились странные звуки, которые Марина и Сережа, ночевавшие дома, явно производили вместе: Нина Александровна не могла объяснить себе природы этих звуков, в которых вовсе не слышалось человеческой речи, не угадывалось вообще ничего органически-телесного, а раздавались только железные взвизгивания, деревянный скрежет, бряцание упавшего бокальчика с карандашами – как будто в комнате в отсутствие хозяев (хотя они на самом деле были там) боролась и бодалась четвероногая мебель.

Эта надсадная, сама себя теснящая, сама себя грызущая пустота настолько пугала Нину Александровну, что она крестилась под одеялом, неумело всаживая щепоть в наморщенный лоб. А наутро лица дочери и зятя были настолько разными, точно они вообще никогда не видели друг друга. Марина, подбоченясь у окна, покрытого птичьим пометом дождей, наспех глотала кефир и убегала на работу, оставив на холодном подоконнике мутный оплывающий стакан. Только тогда Сережа, хорошенько распарившись под душем, выходил на кухню в прилипшей майке и в красных пятнах от горячей воды – и Нина Александровна, подвигая ему поближе оставленную Мариной безо всякого внимания тарелку пирожков, думала, что зять не пьет по-настоящему лишь из-за того, что ему это почему-то не позволяет его образцовый, никогда и ничем не болеющий организм. Отделенный от мира преградой неодолимой физиоло-

гической трезвости, зять, похоже, все время упирался в какую-то прозрачную стену и, ограниченный собой, был совершенно неспособен выпасть из привычки пить одно и то же слабоградусное пиво, самому наглаживать свои заношенные, пахнувшие под утюгом горелой изоляцией синтетические рубашки. Иногда внимательная Нина Александровна замечала, как зять пытается пробудить в себе интерес к окружающей действительности: неподвижно смотрит в толстенные книги, раскрыв их перед собой прямым углом и словно упираясь в угол какой-то отдельной комнаты, или крутит настройку насморочного транзистора, заставляя себя внимательно вслушиваться, что делается на каждой пойманной в толще помех ускользающей станции. Изредка Нине Александровне казалось, будто зять вот-вот заговорит с Мариной по-хорошему: тогда ее сердце сладко замирало, словно это ей самой готовилось любовное объяснение. Однако момент уходил, искра проскакивала зря, и сама Марина непременно как-нибудь портила возможность, одаривая мужа саркастической усмешкой или демонстративно принимаясь мыть посуду, в которой резко пущенная вода буквально закипала вместе с жиром и остатками еды. В такие минуты Нине Александровне казалось, будто зять своими зеркальными глазами видит все увеличенным вдвое; она заметила еще, что с некоторых пор Сережа приобрел привычку пожимать плечами, даже когда с ним никто не говорит.

\* \* \*

Это была идея Марины, чтобы Алексей Афанасьевич не знал о переменах во внешнем мире и пребывал все в том же стоячем солнечном времени, в каком его свалил негаданный инсульт. «Мама, сердце!» – убеждала Марина, немедленно смекнувшая, что это лежачее тело, как бы ни было оно обременительно, потребляет много меньше, чем дает. Может, на первом этапе ясноглазой Мариной двигала не только ранняя практичность: был между нею и отчимом период первой влюбленности взхлеб, когда девчонка лазала по огромному Алексею Афанасьевичу, точно по дереву, забиралась к нему во все карманы, обязательно обнаруживая в одном специально приготовленные шоколадные конфеты. Алексей Афанасьевич учил ее удить рыбу, ловко набрасывать на палку фанерные кольца – и однажды они вдвоем обчистили снабженный хватательными щупальцами, полный всякой крашеной всячины чешский игровой автомат. Все это кончилось через какой-нибудь год: стрекозиный пруд на задворках новеньких девятиэтажек на другое же лето превратился в болото, покрытое ядовитозеленым растительным пластырем, – а теперь на этом месте стояли ларьки. Все-таки это не могло забыться совсем – по крайней мере, к тому довольно странному моменту, когда через месяц после телевизионной смерти Брежнева Марина повесила на стену орденосный и бровастый портрет казенного образца.

После Нине Александровне оставалось только удивляться той прозорливости, которую юная Марина, занятая как будто только Сережей да своими конспектами, проявила при самом первом историческом толчке – угадав в перемене дряхлого генерального секретаря на более молодого и деятельного не залог продолжения и прочности советской жизни, но начало конца. Она уже тогда принялась сохранять, консервировать впрок субстанцию времени, очищая ее от новых, на первых порах как будто безобидных примесей. Так получилось, что заслуженный телевизор «Горизонт», в котором цветными оставались только импрессионистические вспышки помех, показал напоследок прощание с великим деятелем современности (жирная цветочная гробница, венки, похожие на макеты орденов, вытянутая шея и пол-лица настоящего человека из очереди к телу) – после чего окончательно погас. Временно Марина запретила покупать другой, но выписала зато газету «Правда». Никто не мог бы теперь утверждать наверняка, умеет ли Алексей Афанасьевич читать: прежде он всегда внимательно прорабатывал газеты, удерживая строчку школьной линейкой, как бы исчисляя в миллиметрах количество информации, а сейчас смотрел на приспущенный в руках у Нины Александровны

газетный лист безо всякого движения в глазах, точно это было взятое ею для починки постельное белье. Нине Александровне было вменено в обязанность читать парализованному вслух отдельные статьи, которые Марина редактировала жирными вычеркиваниями и снабжала рукописными вставками. Нина Александровна выполняла приказ, стесняясь и статей, и собственного голоса, незаметно так поворачивая газету, чтобы спуститься до конца малоразборчивого Маринино предложения, – и как-то мозгом ощущая, что замураванный, с темным ушибом от инсульта мозг Алексея Афанасьевича посылает ей в ответ напряженно гудящие пятна. Временами ей казалось (она не решалась это проверить), что стоит наклониться ближе к этой подсохшей голове с криво натянутой маской вместо прежнего лица, как можно будет поговорить с Алексеем Афанасьевичем безо всяких слов.

Очень скоровнешнее время изменилось так, что даже в газете «Правда» не осталось ничего пригодного для переработки Марининым пером. Но к моменту, когда в советских душных помещениях вдруг повышибали окна (когда еще сравнительно молодой и щекастый Апофеозов в одночасье превратился из первого секретаря райкома в публично растерзавшего крепкий партбилет демократического лидера), – время *внутреннее* уже успело устояться. Теперь оно само держалось в комнате и обладало еле уловимым собственным запахом, не имевшим предметного источника и напоминавшим слабую кислоту сгоревшей спички. Все здесь проявляло склонность к неподвижности, к засыпанию в неудобной позе; это особенное качество автономного времени Нина Александровна улавливала на самой границе между бодрствованием и сном, когда внезапно *сливалась* с окружающим и не чувствовала ничего, кроме собственного веса – бывшего блаженством, но говорившего Нине Александровне об ее усталости больше, чем любой гипертонический приступ. Днем она замечала, что вес большинства предметов в комнате приятен в руках.

Что-то подсказывало Нине Александровне, что в закупоренном времени нет какой-то главной разницы между порядком и беспорядком. Она не могла не видеть, что вещи в комнате обладают свойством накапливаться и терять повседневный смысл. Бессмысленность особенно проявлялась во время уборки. Нина Александровна упорно боролась с густой и удивительно ровной пылью, охотно садившейся на мокрое и очень быстро превращавшей питательный пролитый чай в шерстяное пятно. Она без конца протирала, перещупывала, как слепая, все нужное и ненужное. Вероятно, Евгения Марковна про себя удивлялась тому стерильному хаосу, что поддерживался вокруг больного, когда фарфоровые фигурки на серванте выглядели будто произведения уборки, вылепленные рукой и тряпкой сияющие штучки, – и тут же теснились пустые, которые давно пора бы выбросить, аптечные бутылочки, тоже свежепротертые, ясные до видимой на дне лекарственной слезы. Застекленный брежневский портрет, на который врачиха не смотрела, но всегда оглядывалась, выходя из комнаты, тоже был со следами тряпки, с лиловой радугой от дешевого стеклоочистителя; когда, управившись с портретом, Нина Александровна осторожно спускала на пол заголившуюся ногу с пухлыми поджилками и в два приема слезала с покачнувшегося стула, Алексей Афанасьевич удовлетворенно прикрывал правый большой и левый маленький глаз, будто увидел перед собою именно то, что хотел.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.